

СЕМИОСФЕРА

Пространственная картина мира

Глава 2. Внутри мыслящих миров





Цель лекции: выявить основные понятийные сферы метафорических переносов, созданных на основе образного переосмысления пространственной семантики.

План:

1. Образное моделирование пространства.
2. Память культуры: проблема исторического факта.
3. Исторические закономерности и структура текста.

Погруженный в культурное пространство человек неизбежно создает вокруг себя организованную пространственную сферу. Эта сфера, с одной стороны, включает в себя идейные представления, семиотические модели, а с другой – воссоздают деятельность человека, так как мир, искусственно создаваемый людьми, – агрокультурный, архитектурный и технический – коррелирует с их семиотическими моделями. Связь здесь взаимная: с одной стороны, архитектурные сооружения копируют пространственный образ универсума, а с другой, этот образ универсума строится по аналогии с созданным человеком миром культурных сооружений.

Важной особенностью пространственных моделей, создаваемых культурой, является то, что, в отличие от других основных форм семиотического моделирования, они строятся не на словесно-дискретной, а на иконически-континуальной основе. Фундамент их составляют зрительно представимые, иконические тексты, вербализация же имеет вторичный характер. Такой образ вселенной легче протанцевать, чем рассказать, нарисовать, слепить или построить, чем логически эксплицировать. Работа правого полушария головного мозга здесь оказывается первичной. Однако первые же опыты самоописания этой структуры неизбежно вводят словесный уровень с последующим смысловым напряжением между континуальной и дискретной знаковыми картинами мира.

Пространственная картина мира многослойна: она включает в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой «здравый смысл». При этом у обычного человека эти пласты образуют гетерогенную смесь, которая функционирует как нечто единое. В сознании современного человека смешиваются ньютоновские и эйнштейновские представления с глубоко мифологическими образами и навязчивыми привычками видеть мир в его бытовых очертаниях. На этот субстрат накладываются образы, создаваемые искусством или более углубленными научными представлениями, а также постоянной перекодировкой пространственных образов на язык других моделей. В результате создается сложный, находящийся в постоянном движении семиотический механизм.

Создаваемый культурой пространственный образ мира находится как бы между человеком и внешней реальностью природы в постоянном притяжении к двум этим полюсам. Он обращается к человеку от имени внешнего мира, образом которого он себя объявляет. Исторический опыт человека подвергает этот образ постоянной переработке, стремясь к адекватности представляемого им мира. Но образ этот всегда универсален, а мир дан человеку в его опыте только частично. Поэтому неизбежно неустранимое противоречие между этими двумя взаимосвязанными аспектами, образующими универсальный план содержания и выражения, с неизбежной неполной адекватностью отображения первого во втором.

Не менее сложны отношения человека и пространственного образа мира. С одной стороны, образ этот создается человеком, с другой – он активно формирует погруженного в него человека. Здесь возможна параллель с естественным языком. Можно сказать, что активность, идущая от человека к пространственной модели, исходит от коллектива, а обратное формирующее направление воздействует на личность. Однако у этой аналогии есть параллель и с поэтическим языком, который создается личностью и воздействует в обратном движении на коллектив. Как и в процессе языкообразования, так и в процессе пространственного моделирования активны оба направления.

Зададимся вопросами: Каковы задачи исторической науки? Является ли история наукой? Вопросы эти ставились неоднократно, и на них давались многочисленные ответы. Историк, не склонный к теоретизированию, а занимающийся исследованием конкретного материала, обычно склонен удовлетворяться следующей формулой: восстановить прошлое каким оно



было на самом деле. Понятие «восстановить прошлое» подразумевает выяснение фактов и установление связей между ними. Установление фактов есть сбор и сопоставление документов и научная их критика. Под критикой документа понимают выявление неподлинных документов, недостоверных интерполяций, тенденциозных версий. Важную сторону предварительной работы историка составляет умение чтения документа, способность понимать его исторический смысл, опираясь на текстологические навыки и интуицию исследователя.

Однако даже если мы предположим у читателя документа многостороннюю эрудицию, опыт и остроумие, положение его окажется принципиально иным, чем у его коллеги в любой другой области науки. Дело в том, что самим словом «факт» историк обозначает нечто весьма своеобразное. В отличие от дедуктивных наук, которые логически конструируют свои исходные положения, или опытных, которые способны наблюдать, историк обречен иметь дело с текстами. Условия опытных наук позволяют, по крайней мере, рассматривать факт как нечто первичное, исходно данное, предшествующее интерпретации. Факт наблюдается в лабораторных условиях, обладает повторностью, может быть статистически обработан.

Историк обречен иметь дело с текстами. Между событием «как оно произошло» и историком стоит текст, и это коренным образом меняет научную ситуацию. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в зашифрованном виде. Историк предстает, прежде всего, выступить в роли дешифровщика. Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии – событие.

Позитивистская «критика текста» обращает внимание на то, что историком казалось сознательным искажением истины или результатом суеверий и невежества. В первом случае источником «неправды» считались чаще всего политические предубеждения создателя текста, причем и психологию, и политические страсти своего времени историк часто приписывал той или иной отдаленной эпохе. Во втором случае оценка производилась с позиции уровня науки. То, что не удовлетворяло ее представлениям, объяснялось плодом непросвещенной фантазии. Казалось, что достаточно перевести текст на язык современности и убрать или «научно» истолковать элементы чудесного, чтобы из-за текста выступило «событие».

Для исследователя с опытом семиотического истолкования источников очевидно, что вопрос должен стоять иначе: необходима реконструкция кода, которыми пользовался создатель текста, и установление корреляции их с кодами, которыми пользуется исследователь. Создатель текста фиксирует события, которые, с его точки зрения, представляются значимыми и опускает все «незначимое». По сути дела, исследователь применяет одну и ту же методику при реконструкции утраченной части документа и при чтении сохранившейся. В обоих случаях он исходит из того, что документ написан на другом языке, грамматику которого ему еще предстоит составить.

Таким образом, прежде, чем установить факты «для себя», исследователь устанавливает факты для того, кто составил документ, подлежащий анализу. Он сталкивается с тем, в какой мере всякий документ неполно отражает жизнь, какие огромные пласты реальности не считаются фактами и не подлежат фиксации. Эта область «исключенного» не только огромна, но и подвижна.

Однако знание некоторого общего мировоззрения эпохи еще не спасает дела. В пределах одной и той же эпохи существуют разные жанры текстов, и каждый из них, как правило, имеет кодовую специфику: то, что разрешено в одном жанре, – запрещено в другом. Исследователи, противопоставляя «реализм» античной комедии условности трагедий, полагают, что в комедиях мы находим «подлинную», незашифрованную правилами жанра и другими кодовыми системами жизнь. Такой взгляд, конечно, наивен. Под «реализмом» в таком употреблении чаще всего понимают совпадение кода текста с общежитейскими представлениями историка. Аналогичная аберрация происходит с кинозрителем, который смотрит фильм, связанный с другой национально-культурной традицией, и простодушно полагает, что он с этнографической точностью «просто» воспроизводит жизнь и нравы далекой страны. Сознательно или бессознательно факт, с которым сталкивается историк, всегда сконструирован тем, кто создал текст.



Возникает сложная и гетерогенная картина «фактов эпохи». Каждый жанр, каждая культурно-значимая разновидность текста отбирает свои факты. То, что является фактом для мифа, не будет таковым для хроники, факт пятнадцатой страницы газеты – не всегда факт для первой. Таким образом, с позиции передающего, факт – всегда результат выбора из массы окружающих событий события, имеющего, по его представлениям, значение.

Однако факт – не концепт, не идея, он – текст, то есть имеет всегда реально-материальное воплощение, он есть событие, которому придано значение, а не значение, которому придан вид события. В результате факт, выбранный отправителем, оказывается шире значения, которое ему приписывается в коде, и, следовательно, однозначный для отправителя, он для получателя подлежит интерпретации. Историк не только реконструирует код отправителя документа с целью выяснить его представление о сообщаемых фактах, но и вынужден восстановить весь спектр возможных интерпретаций того, что современники – получатели текста – считали здесь фактами и какое значение они им приписывали. Наконец, то, что факт, будучи текстом, неизбежно включает в себя внесистемные, незначимые с точки зрения кодов создавшей его эпохи, элементы, позволяет историку выделить в них то, что, с его точки зрения, является значимым.

Приведем пример. В 1945 г. в Верхнем Египте близ поселка Наг-Хаммади был найден тайник, содержащий ряд кодексов гностического содержания на коптском языке. Среди них – так называемое «Евангелие от Фомы». В 76-ом изречении читаем: «Некий человек сказал ему: "Скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца со мной". Он сказал ему: "О человек, кто сделал меня тем, кто делит?". Он повернулся к своим ученикам, сказал им: "Да не стану я тем, кто делит!"».

Читатель этого текста мог выбрать прямое и символическое толкование этого изречения. В первом случае Иисус отказывается принимать участие в дележе земного имущества как в занятии «от мира сего». Во втором смысл разворачивался как все время углубляющийся образ зла, связанного с разделением, и блага, которому свойственно соединение, слияние противоположностей. В конечном счете символическое прочтение приводило к гностической идее о разделенности как свойстве материального и ложно-кажущегося мира и о единстве – свойстве высше-духовной сущности Всего. Но в обоих случаях и для отправителя, и для получателя текста смысл его заключался в словах Иисуса, подлежащих проникновенному толкованию. Остальная часть текста оказывалась «вне системы», так как не несла в себе учения. Но для современного исследователя «фактом», при известном подходе, может оказаться и то, что изречение воспроизводит не только слова Спасителя, но и сценарий всей сцены. Христос произносит, обращаясь к «некому человеку» и стоя спиной к ученикам, расположенным на заднем плане сцены. И потом, обернувшись к ученикам, он переводит всю ситуацию в область сокровенно-таинственных смыслов словами: «Да не стану я тем, кто делит!»

С определенной точки зрения, именно жестовый сценарий может составить для исследователя «факт». Будет ли он далее интерпретироваться в плане поэтики данного текста или как свидетельство сохранения зрительных впечатлений от подлинно бывшей сцены – это уже вопрос дальнейшей интерпретации.

Таким образом, историческая наука с самого первого своего шага оказывается в странном положении: для других наук факт представляет собой исходную точку, некую первооснову, отправляясь от которой наука вскрывает связи и закономерности. В сфере культуры факт является результатом предварительного анализа. Он создается наукой в процессе исследования и при этом не представляется исследователю чем-то абсолютным. Факт относителен по отношению к некоторому универсуму культуры. Он выплывает из семиотического пространства и растворяется в нем по мере смены культурных кодов. И одновременно как текст он не до конца детерминирован этим семиотическим пространством и своими внесистемными аспектами революционизирует систему, толкая ее к перестройке.

Мы уже говорили о том, что историк обречен иметь дело с текстами. Это обстоятельство решающим образом сказывается не только на структуре исторического факта, но и на его осмыслении, на представлении исторических закономерностей. Историк не наблюдает события, а получает их пересказы в виде нарративных источников. Но даже когда он сам является наблюдателем того, что описывает, примерами этого редкого случая могут быть Геродот и



Цезарь, он все равно превращает в уме свои наблюдения в словесный текст, поскольку он передает не то, что увидел, а свою рефлексию над тем, что увидел, пересказывая виденное. В былые годы историки порой противопоставляли сведения, полученные из словесных источников, как амбивалентные, требующие толкований, неоспоримым свидетельствам памятников материальной культуры, данным археологии, миру иконических изображений. Но поскольку с точки зрения семиотики все виды сообщений являются текстами, разделяя все последствия, вытекающие из пользования текстом как посредником, то вопрос о том, какое влияние на историческое знание имеет факт использования текстов, получает самое общее значение.

Превращение события в текст, прежде всего, означает пересказ его в системе того или иного языка, то есть подчинение его определенной заранее данной структурной организации. Само событие может предстать перед зрителем как неорганизованное или такое, организация которого находится вне поля осмысления, или как скопление нескольких взаимно не связанных структур. Будучи пересказанным средствами языка, оно неизбежно получает структурное единство. Единство это, физически принадлежащее лишь плану выражения, неизбежно переносится на план содержания. Таким образом, факт превращения события в текст повышает степень его организованности. Более того, система языковых связей неизбежно переносится на истолкование связей реального мира.

Высказывание неизбежно организует материал во временных и причинно-следственных координатах, поскольку они присущи структуре языка. Однако если принудительный характер грамматической организации материала особенно ощутим в пределах фразы, то на более высоких уровнях синтагматической структуры выступают вперед принципы нарративной организации. Нарративность подразумевает связанный характер текста. Связанность текста образуется повторяемостью определенных элементов структуры в последовательно расположенных фразах.

Смысловая связанность повествовательных сегментов образует сюжет, который есть такой же закон нарративного текста, как синтаксическая связь – закон построения правильной фразы. Но если рассказ о действительности требует сюжета, то из этого вовсе не следует, что сюжеты имманентно присущи действительности. События реальной жизни, заполняющие некий пространственно-временной континуум, нарративный текст вытягивает в сюжетно-линейное построение.

Следовательно, сама необходимость для историка опираться на тексты, а для текстов – пересказывать события по законам языковых и логических, риторических и нарративных конструкций связана с тем, что историческая реальность попадает в руки исследователя в заведомо деформированном виде. К этому еще следует прибавить идеологическое кодирование, составляющее высшую иерархическую ступень построения нарративного текста и подразумевающую жанровые, идейно-политические, социальные, религиозные, философские и прочие коды.

Стремление преодолеть перечисленные выше трудности исторической науки обусловлено, в определенной мере, возникновением того направления во французской историографии последних пятидесяти лет, которое в настоящее время оформилось как школа исторической новеллы.

Непосредственным импульсом к возникновению научных поисков в этом направлении явился кризис политической истории позитивистского толка, переживавшей уже во вторую половину XIX в. стадию компиляторства и теоретическую нищету. Стремление избавить историю от деяний правителей и жизнеописания великих людей, породило интерес к жизни масс и анонимным процессам.

Однако движение исторической новеллы имело более серьезный смысл, чем желание отмежеваться от дискредитировавшей уже себя научной эклектики. Одним из основных импульсов было стремление выйти за пределы заколдованного круга, что привело к критике самого понятия «исторический факт» и стремлению избавить историю от «исторических личностей». Требование изучать безличные, коллективные исторические импульсы, которые определяют действия масс, породило новаторскую тематику этой школы, выводившей историка далеко за пределы привычных рутинных тем исследования.



И все же не все принципы этой школы можно принять без возражений. История не есть только сознательный процесс, но она и не только бессознательный процесс: она есть взаимное сопряжение того и другого.

История литературного языка есть история творчества, процесс, связанный с индивидуальной активностью и повышенной степенью непредсказуемости. Если политическая история пренебрегала одной стороной двуединого исторического процесса, то «новая история» делает то же самое относительно другой. Как и история языка, любой динамический процесс, совершающийся с участием человека, колеблется между полюсом непрерывных медленных изменений, характеризующих процессы, на которые сознание и воля человека не оказывают влияния и которые часто вообще не заметны для современника, поскольку их периодичность дольше, чем жизнь поколения, и полюсом сознательной человеческой деятельности, совершаемой в результате личных волевых и интеллектуальных усилий. Оторвать одну сторону от другой невозможно, как север от юга. Их противопоставление есть условие их существования.

Разная степень участия сознательных человеческих усилий в различных уровнях единого исторического процесса одновременно касается и различий в оценке роли случайности, с одной стороны, и творческих возможностей личности, с другой. Задача «освободить историю от великих людей» может обернуться историей без творчества и историей без мыслей и свободы: свободы мысли, свободы воли, то есть без возможности выбора путей. В обоих случаях историческое действие есть действие, лишенное выбора. Так ли это?

Оставим в стороне вопрос, как с этой точки зрения выглядят интеллектуальные способности и моральная ответственность человека, и посмотрим на ситуацию с другой стороны. Неопределенность есть мера информации. Минимальная информация содержится в выборе одной из двух равновероятных возможностей. По мере исчерпания резерва неопределенности информативность процесса снижается, падая до нуля в тот момент, когда он делается полностью избыточным, то есть до конца предсказуемым. Представим себе камень, летящий по определенной траектории. Если бы мы могли учесть все воздействующие на него факторы еще перед броском и полностью исключили бы возможность вступления в игру новых факторов во время полета, то место падения можно было бы указать еще до начала полета. Следовательно, для выяснения того, в какой момент, в какой точке траектории будет находиться наш камень, реальный бросок окажется полностью избыточным. Но изменим условия. Допустим, что мы не можем учесть все факторы, которые будут проявляться по мере движения камня по траектории. Тогда с каждым моментом точность нашего предсказания будет возрастать и одновременно будет возрастать избыточность дальнейшего текста. Избыточность обратно пропорциональна информации, которая будет падать пропорционально с тем, чем больший путь пролетел камень и чем меньше возможных альтернатив в дальнейшем движении у него остается. Конечно, если бы камень обладал возможностью выбора пути в каждый момент движения, потенциальная информативность его полета сохранялась бы.

Документальная история человечества длится уже тысячи лет. Если бы исторический процесс не имел механизмов непредсказуемости, то есть не включал бы в себя случайности, история давно уже была бы избыточной, и мы могли бы предсказывать вперед ее течение. Как известно, этого не происходит. Даже там, где роль отдельной личности ничтожна, и предшествующее состояние системы достаточно хорошо известно, прогнозирование ознаменовано не успехами, а блистательными поражениями.

Относительно исторической науки здесь работают специальные обстоятельства, делающие для историка необходимым выбор между вненаучной подменой истории биографиями «великих людей» и жесткой детерминацией. Мы уже видели, какой деформации подвергается внетекстовая реальность, превращаясь в текст – источник для историка. Видели мы и то, по каким путям историки пытаются уйти от этой опасности. Однако есть и другой источник деформации реальности, теперь уже не под рукой создателя документа – источника, а в результате действий его интерпретатора – историка.

История развивается по вектору времени. Направление ее определено движением из прошлого в настоящее. Историк же смотрит на изучаемые тексты из настоящего в прошлое. Для большинства авторов, рассматривавших эпистемиологическую сторону исторической науки, идентичность перспективного и ретроспективного взглядов казалась настолько



самоочевидной истиной, что вопрос этот даже не делался предметом рассмотрения. Представлялось, что сущность цепочки событий не меняется от того, смотрим ли мы на них в направлении стрелы времени или с противоположной точки зрения. Более того, для тех, кто видит в истории движение к определенной цели, такой взгляд представляется естественным, а для оппонентов – методически удобным приемом.

Мы уже отмечали, что история представляет собой необратимый процесс. Динамические процессы, протекающие в равновесных условиях, совершаются по детерминированным кривым. Однако по мере удаления от энтропийных точек равновесия, движение приближается к тем критическим точкам, в которых предсказуемое течение процессов нарушается. В этих точках процесс достигает момента, когда однозначное предсказание будущего становится невозможным. Дальнейшее развитие осуществляется как реализация одной из нескольких равновероятных альтернатив.

Таким образом, случайное и закономерное перестают быть несовместимыми понятиями, а предстают как два возможных состояния одного и того же объекта. Двигаясь в детерминированном поле, он предстает точкой в линейном развитии, попадая во флуктуационное пространство – выступает как континуум потенциальных возможностей со случайностью в качестве пускового устройства.